

МИХАИЛ УЛЬЯНОВ:

Веч. вып. - 1997. - 20 мая сб. - с. 7

Аристократы духа живут в ситуации безденежья, но свободы

У Михаила Александровича Ульянова, народного артиста СССР, лауреата Ленинской премии, художественного руководителя Вахтанговского театра, — юбилей. Ему 70 лет. Михаил Ульянов не нуждается ни в каких, даже самых превосходных, эпитетах. Он любим, и этим все сказано.

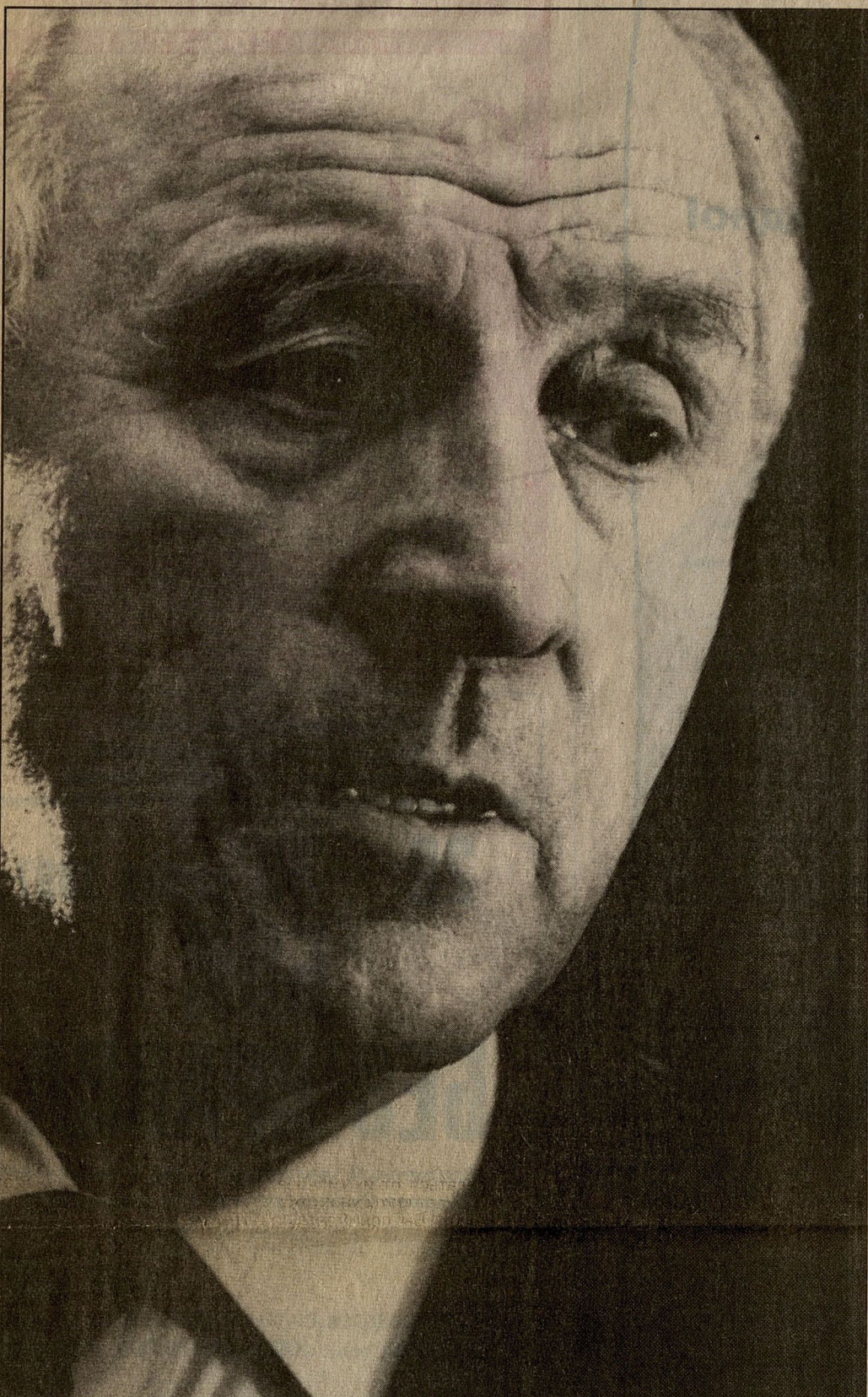


ФОТО ИТАР-ТАСС

открываются. Создали свои театры Калягин, Джигарханян, возникают новые студии, какие-то чердачные, подчердачные театры. Насколько нужны они, покажет время, но они быются, стараются устоять, некоторые умирают — все это нормальный процесс. Главное, талантам дают возможность проявиться. И народ пошел в театр, потому что в отличие от разнузданного ТВ и разгромленного кино он остался как бы аристократом духа.

Нашу беседу прерывает настойчивый телефонный звонок. Ульянов извиняется, берет трубку. Некоторое время внимательно слушает, потом вежливо, но очень твердо говорит невидимому собеседнику: «Спасибо, но я не могу». Собеседник не сдаётся, насаждает, и я вижу, что Ульянова это злит...

— Меня все время втягивают заниматься какой-то чепухой. Заседаю, выступаю... Суета, от которой, кроме оскомины, ничего не остается. Мне некогда заниматься актерством — своей основной профессией... Зовут на бесконечные презентации, приемы. Жрут там, как собаки, на халаву и еще удивляются, отчего это я не соглашаюсь участвовать. Надоело! А сколько возникло всяких липовых организаций, академий, фондов... Я сам, по-моему, уже дважды академик...

— Каких академий?

— Я не знаю. Даже выговорить не могу их названия. Вроде какой-то там защиты. Ей-богу, не помню! Думаю, и другие, что в этих академиях числятся, не лучше меня.

— Издержки свободы...

— Да какие издержки! Какой свободы? Ни один западный актер не занимается той чепухой, которой мы вынуждены у нас заниматься. Почему-то считается, что актеры могут учить, как жить. Как играть, я могу сказать, а как жить, я не знаю. Но требуют...

— Михаил Александрович, это вполне понятная и простибельная aberrация. И свидетельствует она только о том, что вы очень убедительно сыграли какого-то умного, волевого и доброго человека, к которому можно обратиться за помощью и советом. Обращаясь к вам, обращаются не к артисту, а к маршалу, председателю колхоза, вождю пролетариата...

— Но я-то не маршал и не председатель колхоза и в политике не силен.

— Так уж и не силен? Я часто вспоминаю, Михаил Александрович, январский вечер 1987 года, когда съемочная группа кинофильма «Выбор» ждала в гостинице «Националь», когда вы вернетесь с очередного пленума ЦК КПСС. И вы пришли прямо в заседания возбужденный, в приподнятом настроении. Оказалось, что вы выступали на пленуме. И как! Скажите, вот тогда, десять лет назад, вы представляли нынешний день страны?

— Я не теоретик, я актер. Я чувствительнее. И работаю на эмоции. Мне не дано предугадывать. Я могу сыграть политика — скажем, Ричарда III, но я не могу объяснить себе, как 190 миллионов народу подчинились воле одного человека — Иосифа Виссарионовича.

— Он строил свой режим не один — существовала жесткая пирамида власти...

— Это-то я понимаю. Я хотел бы узнать, кто первым произносит слово, после которого восходят Наполеоны, Гитлеры, Сталины. Народ живет отвратительно, но не смеет пикнуть. Хотелось бы верить, что сейчас мы идем к такой системе, где станут невозможны диктаторы и узурпаторы власти. Нужны законы, гарантирующие это.

— Но вернемся к театру. Михаил Александрович, вы прожили на сцене почти полвека и, если можно так выразиться, пережили с театром несколько степеней свободы. Ситуация всякий раз улучшалась, но полное удовлетворение ею так и не наступило. Даже сейчас при полном, как говорится, разгуле демократии.

— Что делать? Есть много сумасшедших, которые понимают свободу как вседозволенность. Все эти эротические театры, порнуха, прочая чертовщина — всего лишь пена. Не она определяет время, его определяет другое: сегодня театр требует от наших режиссеров умения масштабно мыслить, крупных нестандартных решений и нельзя отвлекать их на добычу денег. С другой стороны, нельзя жить, не добыв эти деньги. В этом столкновении безденежья и свободы и заключается сложность сегодняшней ситуации. Никто не мешает делать хороший спектакль. Но никто не даст ни копейки, если реализация замысла требует денег. И еще неизвестно, кто сильнее давит: прежний ЦК или нынешний рубль. Последний, пожалуй, крепче.

Но смею вас уверить, с кем бы из коллег я ни обсуждал эту тему, все говорят: обсуждать это — интереснее.

Встречался
Леонид ПЛЕШАКОВ.

— Ваш юбилейный возраст, Михаил Александрович, позволяет взглянуть на события последних почти пяти десятилетий. Ведь вы начинали еще при Сталине...

— Когда умер вождь всех времен и народов, мне шел двадцать шестой год. И все, кто захватил ту эпоху, уж наверняка не забудут ее. У каждого, понятно, свой опыт со своими личными деталями, мне же больше всего запомнился 1949 год с его борьбой с космополитизмом. Со стороны это выглядело иногда странно, хотя жертвам гонений было просто страшно. Я учился тогда в театральном училище имени Щукина при театре Вахтангова, так вот нашего преподавателя танцев обвинили в низкопоклонстве перед Западом только за то, что он поставил нам па-де-катр. Нашему любимому педагогу Леониду Моисеевичу Шахматову «пришили» космополитизм за то, что хотел поставить со студентами какую-то пьесу Шеридана. Известнейшего театрального критика Павла Ивановича Новицкого, написавшего замечательную книгу о Борисе Щукине, стали шельмовать за то, что в этой книге он посмел утверждать, будто Щукин мечтал о крупной западной роли, имея в виду роль в пьесе западного автора, пусть даже Шекспира. Оказалось, что создатель образа Ленина не имел права мечтать об этом. Вот и все обвинения. Бред.

И вот мы, десяток студентов «Щуки», будучи абсолютно зелеными сопляками, пытаюсь вступить за своего любимого учителя Шахматова, решили написать письмо Сталину.

— Вы были уверены, что письмо поможет?

— Мы искренне хотели открыть вождю глаза и верили, что он остановит разгул идиотизма. Это лишний раз говорит о нашей слепоте и полном непонимании того, что происходило в стране. И одна умная женщина, тоже наша преподаватель, муж которой был посажен еще в 1937 году, узнав о нашей затее, страшно перепугалась и, загнав нас в какой-то закуток, сказала: «Вы идиоты, вы кретины. Вы не успеете ахнуть, как вылетите из училища». Она нарисовала такую убедительную картину, что мгновенно охладил наш пыл. Думаю, она просто спасла наши жизни, ибо в те времена подобное письмо могло искалечить всю биографию. И когда сейчас некоторые говорят: «Зато был порядок!» — я всегда вспоминаю этот эпизод, закончившийся для меня и моих друзей вполне благополучно, но

на всю жизнь оставивший очень острое ощущение нависшей беды. То был порядок камер, порядок лагеря.

— А потом наступила хрущевская оттепель...

— Прекрасное время! Будто хлынул свежий воздух. К сожалению, это был только прекрасный весенний миг, который власти предрекавшие, люди весьма в этом деле опытные, оценили весьма своеобразно: «Э, нет, ребята, с этим весенним ветром мы можем простудиться. Давай закрывай окна и форточки!» И закрыли на целых восемнадцать лет общество хвалилось тем, что жить, конечно, душно, зато не сажают. Хотя все-таки и сажали тоже. Но, странное дело, несмотря на старательную культивируемую атмосферу замкнутого пространства, короткий миг оттепели все-таки оставил след. Уже появились Ефремов, Товстоногов, Любимов, со сцены зазвучало свежее слово, с которым было трудно бороться. Сколько раз хотели закрыть театр на Таганке — рука все-таки не поднялась...

— «Таганку» не закрыли, зато ее спектакли закрывали.

— И фильмы закрывали, отправляли на полку. Причем не всегда было понятно почему. Любимой критический намек на современность рассматривался как крамола. Этого не прощали даже Ленину. На двадцать лет упрятали на полку фильм о Ленине — я играл там главную роль, сценарий которого Михаил Шатров построил на подлинных документах. Нельзя!

Сложилась ситуация подвижного равновесия. Одни более или менее смелые спектакли закрывали, и тут же появлялись другие, самые смелые из которых постигала та же участь. Выработался невероятный до абсурда критерий качества того или иного театрального спектакля: если его ругает пресса — значит хороший, надо побыстрее посмотреть, пока не закрыли. Если хвалит — считай, белиберда. В подобную ситуацию угодили и фильм «Председатель», снятый по сценарию Юрия Нагибина, где я играл главную роль. Его завершение совпало со снятием Хрущева. После предварительных просмотров мнения о картине разделились. Одни утверждали, что это правда о нашей деревне. Другие уличали ее в клевете на советскую власть и колхозное крестьянство. Картину запретили к прокату, потом разрешили, потом снова запретили, чем, естественно, сделали рекламу. Кинопрокат, оценив ситуацию,

заказал колоссальное количество копий и тут же разослал по своим конторам во все регионы страны.

И вот в тот самый день, когда в московском кинотеатре «Россия» состоялась официальная премьера фильма, из ЦК КПСС на места была спущена директива: «Снять картину с экрана!»

— Кто ее дал?

— Бог его знает. Важно, что на местах кинопрокат не захотел подчиняться: мол, кто оплатит нам понесенные убытки? Ведь и за копии уплачены большие деньги, да и возврат уже проданных билетов обошелся бы в копейку. Короче, «Председатель» пошел на экраны. Но мытарства его не прекратились даже после того, как его удостоили Ленинской премии. То закрывали, то снимали с проката, то замалчивали. Думаю, приключения этого фильма объясняются довольно просто: то ли Брежнев, то ли Косыгин, которые буквально на днях заняли посты смещенного Хрущева, не захотели, чтобы начало их правления ознаменовалось какими-то запретами. Мы выскочили на экран в самый момент поворота от свежего ветра хрущевской оттепели к затхлой атмосфере брежневского застоя. Это, как в метро: двери стали закрываться, кто-то в самый последний момент успел проскочить в узкую щель, и они захлопнулись...

— Перестройка принесла новые надежды?

— Конечно. Когда Горбачев объявил свои реформы, гласность, первыми на это клюнули деятели культуры. Творческая интеллигенция, как дети: остро на все реагируют, быстро плачут, скоро успокаиваются, верят в сказки, идут за сильным, слушая интересного рассказчика. Может быть, от этой детскости она быстро загорается и так же быстро гаснет. Во всяком случае скажу о себе, я поверил Горбачеву, хотя теперь ясно, что, начав все крушить и ломать, он не особенно четко представлял, что будет строить. Я говорю не об экономике или производстве — я в них не очень понимаю, — я о театре и кино. Театру пришлось нелегко, но он как-то еще устоял. А вот кино растащили по углам: одни утащили прокат, другие — технику, третьи — литературу. И началась купля-продажа между братьями по цеху, такая внутрисемейная торговля. И кино распалось. Студии закрываются, прокат ради денег крутит всякую дрянь...

— Но театр-то выжил.

— Театр выжил. Более того, сейчас театры не закрываются —